

фамилия Уразовых не из плохих, а я вот... — и, чтобы не отвечать на вопрос, за что попала в лагерь, прикрикнула: — А ну, шагай без разговоров!

Попала Клавка в тюрьму, когда ей не было еще восемнадцати лет. Попала вместе с компанией таких же, как и она, разболтавшихся от безделья, от безнадзорности мальчишек и девчонок, которые, чтобы иметь возможность пользоваться удовольствиями и благами большого города, занимались мелкими кражами. Об этом Клавка даже и не знала. Она просто сдружилась с бойкими ребятами, восхищенная их беззаботной, веселой жизнью, разговорами о кино, театре, пирушках, просто потянулась к ним от уныло-однообразной домашней жизни, от школы, которую не любила, хотя уже успела с грехом пополам кончить семилетку.

Когда всю компанию арестовали в маленьком грязноватом ресторанчике, где они, по мнению Клавки, страшно шикарно кутили, она даже не сразу поняла, чем это может кончиться. Поняла и испугалась только тогда, когда у нее отобрали, как краденую, подаренную в этот вечер новыми друзьями золотую брошку. Она пыталась протестовать против ареста, пыталась бежать, но шепот одной из девчонок: «Брось, дура, все равно каюк», заставил ее понять, что тюрьма неизбежна, что все прежнее кончилось; у нее не осталось никого, кроме этих недавних знакомых, которые и здесь были вызывающе смелы и развязны. Из чувства товарищества Клавка старалась вести себя во всем так же, как они.

Невозможность вернуться домой, где отец мог избить до полусмерти, где мать до конца жизни будет попрекать тюрьмой, где все соседи будут смотреть с презрением и жалостью, а главное, страх потерять своих смелых, веселых друзей — все привело к тому, что она сама разбивала попытки следователя оставить ее на свободе.

— Только не смущайся, Клавка. Не отставай от нас. Бери отчаянностью, — говорили друзья.

И она не смущалась.

— Куда их, туда и меня. Посылайте вместе в лагерь. Я, может быть, больше их виновата, да только вы не знаете, а я сама про себя говорить не хочу. К отцу,

к матери ни за что не вернусь. Какая с ними жизнь? Хуже тюрьмы. Все равно буду жить так, как они не велят. Они говорят — не гуляй, а я буду гулять, учись, говорят, работай, а я не буду. Хочу жить легко и весело — вот и все. Чем занималась, тем и буду заниматься. Посылайте вместе в лагерь.

— Чужие слова говоришь? Нахваталась? — пристально смотрел следователь в ее похудевшее, посеревшее лицо. — Пропадешь ты с ними, девушка...

— А вам какое дело? Кому чужие, а мне нет. Вместе взяли, вместе и отправляйте.

От свидания с родными Клавка категорически отказалась: «Поди они...», да и сами родные не настаивали и отказались взять ее на поруки. В глазах отца, мелкого техника, сухого, замкнутого человека, и матери, давно утратившей способность разбираться в чем-либо, кроме хозяйства и своих болезней, все случившееся с дочерью казалось неисправимым и непростительным позором.

Клавка добила своего: ее направили в исправительно-трудовой лагерь, но не в тот, куда пошли ее товарищи. Это было ударом. Она чувствовала себя обманутой: она же говорила, просила, что хочет быть там, где они. Ей казалось, что ее просто перестали считать человеком, раз, несмотря на ее слезы и просьбы, все-таки поступили так жестоко.

Горе сменилось злобой, и, как человек, которому, по ее убеждению, было уже нечего терять, она с первых же дней лагерной жизни не признавала никакой дисциплины, скандалила, ссорилась, лезла со всеми в драку и упорно, вызываясь отказывалась работать.

Два случая особенно озлобили, опустошили Клавку. Первым из них была смерть одной из соседок по нарам в бараке, вернее даже не сама смерть, а глубокое равнодушие к ней окружающих. Жизнь барака ни в чем не нарушилась. Никто не пожалел об умершей. Никто не был возмущен дракой, сразу же вспыхнувшей из-за освободившегося места, на которое многие давно поглядывали, с нетерпением ожидая, когда умрет больная. Забившись в угол, похолодев от горя за себя, Клавка думала: «Так и меня... в сарай. Так и про меня скажут: «Слава богу, освободила место». Значит человек никому не нужен... — все равно — хоть он хороший, хоть

плохой; значит чужая жизнь для всех копейка», — думала она.

Но через некоторое время в жизнь Клавки вошло такое, что наполнило все ее существо радостью, счастьем. Все изменилось: она почувствовала, что кому-то нужна, кто-то ее ищет, кто-то с ней ласков. Она была рада отдать этому человеку все, что у нее было, — и душу и тело. Мучительно радостно приняла и оправдала в нем все, что ее вначале отталкивало. Все прощала — пусть хоть такой, да будет с ней. Она была счастлива. И вдруг — вся развязка заняла не больше часа — узнала, что он сам просил перевести его в другой, дальний лагерь, увидела на любимом лице холодную усмешку: «Хорошенького понемножку... Ищи другого», услышала общий смех над ее горестно протянутыми к нему руками.

Этот случай, когда над ней смеялись все, когда ее никто — ни один человек! — не понял, не пожалел, казалось, окончательно убил доверие к людям, к жизни. Жизнь — копейка. И она сама — тоже копейка, которую незачем беречь. Чем хуже, тем лучше, один конец.

Как исключительно трудновоспитуемую, не поддающуюся никакому воздействию, Клавку перебрасывали из лагеря в лагерь. Она не протестовала. Ей это даже нравилось — дорогой никто не говорил о работе.

Так прошел год. Клавка была близка к гибели не только моральной, но и физической. Она была так истощена, что не могла уже жить на скудный паек отказчиков от работы, была всегда голодна. У нее не было сил мучительно мерзнуть в холодном карцере, куда она попадала за нарушение дисциплины и скандалы. А главное Клавка утратила свой вызывающий вид дерзкой, смелой, неуязвимой девчонки. Она была жалка и так низко пала в глазах других заключенных, что ее унижал, обижал, бил всякий, кому было не лень, тем более, что она была слишком слаба, чтоб защищаться. Наконец, просто из инстинкта самосохранения она сдалась — согласилась работать. Но в первые же дни, когда ее направили на самую легкую работу — подбирать сучья в лесу после вырубki, она поняла, что у нее уже нет сил даже на это. Ей хотелось броситься на землю и

выть; выть по-звериному, как она делала это последнее время, не желая идти работать. Но, поглядев на свои тонкие руки, на худосильные, тощие, как палки, ноги, которые подгибались от слабости, видя, что все кругом, не теряя времени, работают, совершенно неожиданно разозлилась: «Не сдохнешь, собака, сделаешь... А если сдохнешь, туда тебе и дорога». И в этой злобе нашла силу.

Работала Клавка стиснув зубы, изнемогая, но отталкивая всякую помощь злым взглядом, грубым криком: «Не лезь, куда не просят». Рабочий день казался ей вечностью, конец его страшил длинной дорогой назад. Единственное, что она себе позволяла, это идти около конвойного, зная, что он сам захочет от нее отвязаться и сунет на подводу, которая вывозила из леса заболевших.

Через несколько дней, проведенных на работе в лесу, она уже не думала, что никому нет до нее дела. Поняла, что кругом хотя и суровые люди, требующие работы, но никто из них не хочет ее гибели.

Перелом в поведении Клавки был замечен: питание ей стали давать за полную норму работы, никто не грозил карцером, а явное изнеможение, до которого она дошла, стараясь «сдохнуть, да сделать», дало ей десяток дней блаженного покоя и одиночества на больничной койке.

— Ох, и страшна же ты, девка,— не удержалась сиделка, тоже из заключенных, увидев ее худое, запущенное грязное тело. Но заметив, как сжалась от стыда Клавка, нашла доброе слово: — Знать, силенок у тебя не хватало после работы в баню сходить.

— Я с детства всегда худая,— хрипло шепнула Клавка.

— Бывают худые, да уж ты со своих костей все сняла, совсем как скелет стала. Бить тебя некому, сама ведь виновата.

Вечером сиделка, грузная сердобольная баба, стояла над Клавкой до тех пор, пока та не съела все, что было ей дано.

— Ешь, Клавка... Чем в слабосилках быть, лучше сейчас удавись. Какая это суть слабосилка? Тьфу! Жить, так уж с силой,— уговаривали лежавшие в палате женщины.

Вытянув шеи, прислушивались они на другой день к тому, что говорил доктор, осматривавший Клавку. И когда она юркнула от доктора под одеяло, заговорили все разом.

— Не верь ты ей, доктор, что ни на что не жалуется. Осмотри как следует. Возьмись ты за нее, поправь, как можно. Да сними ее с лесной работы... Куда ей... Дите ведь еще и совсем дохлое.

Угрюмый, ко всему равнодушный, даже к брани и крикам женщин, попавший в лагерь, наверное, за аборт, доктор откинул одеяло, посадил красную от стыда, сердито сопротивляющуюся Клавку и внимательно выслушал.

— Дуреха, что злишься? Все у тебя пока первого сорта, но легко можешь извести себя в конец. Работа в лесу тебе как раз подходит. Только работай с умом, в меру. Я бы сам лучше в лес пошел, чем здесь с вами возиться. — И неожиданно громко, дружески шлепнув Клавку по спине, перешел к другой больной.

Уходил из палаты опять понурый, равнодушный, хмуро сказав Клавке:

— Ешь и спи. Раньше чем через неделю-полторы не выпущу. От леса не отказывайся.

Закрывшись с головой, лежала Клавка целыми днями: спала, бездумно нежилась, старалась не слышать разговоры больных, которые поднимали со дна всю муть женской лагерной жизни, всю грубую, циничную бабью житейскую мудрость.

— На-ка, почитай. Конвой тут один лежал, оставил, — сунула Клавке сиделка грязную, зачитанную до лохмотьев книгу.

Это был глупейший, неизвестно какими путями сохранившийся с незапамятных времен роман «из великосветской жизни». Читая, Клавка злорадно направляла в уме всех героев, а особенно героинь, в лагерь, чтоб не ломались, не важничали в своей ничем не заслуженной «сладкой» жизни. «Нашел о чем писать, осел... Распустил слюни», — ругала она того, кто о них писал. Но книга, вызывая презрение к автору, впервые за весь год напомнила о том, что она всегда, с детства, любила читать.

Вернулась Клавка в лес с радостью, пожалуй, больше всего потому, что он избавлял ее от барака, от бабьих разговоров, от ссор и давал возможность быть одной.

Постепенно она окрепла, втянулась в работу и стала спокойней. Случалось, конечно, что опять ссорилась, скандалила и попадала за это в карцер, но скоро поняла, что все это «себе дороже стоит», и вошла, по мнению начальства, в норму.

Но для нее самой это не было нормой. Более грамотная, умная, чем большинство обитателей лагеря, она уже не хотела быть хуже других, как это было недавно. Она хотела быть даже лучше других. Если в лагере было питание «из двух котлов», из которых первый, значительно лучший, был только для перевыполняющих норму работы, то она, Клавка, должна есть только из него, хотя бы для этого нужно было вытянуть все жилы. И она добилась своего. Но она не хотела быть хуже других ни в чем и с таким же упорством, не останавливаясь ни перед чем, добилась того, что у нее появились новая одежда, сласти, вино, хотя все это в лагере было почти недостижимо.

Клавка по-прежнему считала, что жизнь — пустое дело, копейка. Желание быть не хуже других было просто желанием жить сытно, весело, удобно. Но так как она продолжала не доверять людям, ждать от них только плохого, то решила добиться и того, чтобы рядом живущие не только не мешали ей, но и боялись ее, уступали, заискивали, делали для нее то, что она хотела. Она добилась и этого, добилась откровенно бессовестно, безжалостно, тем более, что это мало кого из тех, кто ее окружал, удивляло.

Лагеря начала 30-х годов, о которых идет речь, были заполнены, кроме уголовных, еще и теми подонками прошлого, которые потеряли возможность безбедного существования при новом строе. Здесь были раскулаченные, спекулянты, проститутки, люди без определенных занятий и местожительства, бывшие слишком усердные полицейские чины, бывшие темные дельцы. Одним словом, «бывшие» всякого рода, изоляцию которых не только подсказывала, а требовала сама жизнь.

Начальству лагеря удавалось при помощи конвойных добиваться от этих озлобленных против Советской власти людей нужной дисциплины, порядка на работе. Но жизнь в бараках, где заключенные, в отличие от су-

рового режима тюрьмы, освобождались от надзора, была очень тяжелой. Право на сколько-нибудь сносное существование здесь давала лишь грубая сила, причем не только физическая, но и сила наглости, жестокости, подлости. Чтобы сносно жить, быть не хуже других, Клавка приобрела все эти качества, кроме последнего. Она по натуре своей была слишком прямой, независимой, да и само стремление стать «не хуже других» в какой-то мере исходило из чувства собственного достоинства, которое никак не мирилось с подлостью. Она предпочитала действовать открыто. Нагло заявляла о своем желании иметь то, что ей нравилось у другой: «Отдай лучше добром», — и в большинстве случаев получала. Она открыто подсаживалась к той, которая получила посылку из дому, и грубо требовала: «Ну-ка, поделись, да не скупой, я ведь не ты, втихомолку одна есть не буду», и получив, действительно щедро делилась с другими. Она могла, если ей добровольно не уступали понравившееся место на нарах, в одну минуту сбросить с них все, перенести свое и встретить хозяйку уверенно: «Тебе и там не плохо будет». В случае же протеста умирляла обиженную двумя-тремя пинками, приговаривая: «Давай без шума, не ори зря».

Так как не одна Клавка хотела «сносно жить», то бывали случаи, что ей давали отпор. Дралась она самоабвенно и в конце сражения, избитая в кровь, прежде чем подсчитать свои синяки и царапины, смотрела, насколько сильно пострадала от нее противница.

К концу пребывания в лагере Клавка была уже настолько сильным волком, что с ней не спорили. Довольная завоеванным положением, она и сама стала сдержанней, общительней; бывало даже, что помогала кому-нибудь из слабых, защищала его, но делалось это с таким презрением к слабости, что никого не грело.

Она умела поддержать шутку, веселье, особенно на работе. Была не прочь выпить в теплой компании, сплаться с хорошим партнером. Были у нее и увлечения. Но ее никогда не оставляла мысль о том, что время идет и все лагерное останется позади.

Вначале у нее была мысль о доме, даже желание написать отцу, но все воспоминания о родных говорили о том, что она им не нужна. Нет, она одна, сама где-нибудь в новом городе, где ее никто не знает, наладит

новую хорошую жизнь, такую, как хочет. Найдет чистую работу, хорошо оденется, заведет хороших друзей, знакомых, будет ходить в кино, в парк, гулять по большим улицам, будет читать. Вольная, не в лагере, не в бараке, не под конвоем, она сама будет другой. Только бы скорей выйти.

— Ты что, Уразова, скоро срок кончаешь? — спросил как-то десятник, принимая у нее, как у бригадира, штабеля дров.

— А что?

— Да хорошо работаешь. Можно поговорить, тебя и здесь оставят вольнонаемной, вот как меня. Работа тебе и не в лесу найдется.

— Сказал! — возмутилась она. — Нашел чем шутить. — И удивилась, когда десятник внимательно посмотрел на нее и покачал головой.

— Не в шутку говорю. Сама говорила, что тебя на воле никто не ждет. Здесь ты свою судьбу лучше бы устроила.

— Спасибо за заботу. Мечтаю о лучшем. — И отошла.

Незадолго до освобождения о том же заговорил начальник лагеря.

— Ишь вы какие добрые. Нет! Не пройдет номер. Жду не дождусь, когда выйду. Никого у меня нет, никто не ждет, а только что голова у меня не пустая, руки, ноги не отсохли. С чего же это я воли бояться буду? Сами же говорите, что без работы после освобождения никто не останется. Что приказ такой есть.

— Да это-то так... Эх, девка, пугать я тебя не хочу, а только попомни мои слова, тебе на воле лучше не будет, чем здесь. Здесь-то ты как?.. Мнения о себе высокого, да и мы о тебе не плохого. Здесь-то ты ровно на коне, а там еще как придется... и пешей понизу находишься. Подумай как следует.

— Еще что... Воля-то... — и не нашла слов.

И вот Клавка вышла из лагеря. Три года — достаточный срок для закалки. Она уверена в своей силе, выносливости, уме, в том, что и на воле сумеет взять свое, то есть сумеет быть сытой, одетой, сумеет повеселиться, а в случае чего и огрызнуться на всякого, одним словом,

будет и там «не хуже других». О чем-либо большем, о чем-то другом она и не помышляла.

Мысли о возвращении домой, к отцу, по-прежнему не было. Когда поезд, в котором она ехала вместе со спекулянткой Марьей, остановился в родном городе, оказавшемся на ее пути, она спокойно нашла глазами свою улицу, высокое здание семилетки, но все это не вызвало ни воспоминаний, ни интереса — ничего, просто проехала мимо.

В сущности, Клавка ехала впервые, до этого были лишь короткие минутные поездки с отцом до пригородных станций да дороги из лагеря в лагерь в наглухо закрытых теплушках. Она почти не отходила от окна, но ее совсем не манили, скорей даже подавляли, безбрежные дали, темные стены лесов, бесчисленные села, города, стройки. На станциях она жадно старалась рассмотреть привокзальные рынки, еду, которая там продавалась, одежду женщин, и все это казалось ей каким-то ненастоящим, как будто бы перед ней листали большую книгу с картинками.

Но на одной маленькой станции Клавка дико расхоталась и замахала руками, как ребенок.

— Ты что, оглашенная? — и Марья посмотрела через ее плечо. — Ну чего ты, как дурочка? Ребятишки там...

— Да ты гляди, около ребят-то кто?... Куры ведь... Видишь? — и не могла удержать смех. — Право, они. А я и думать забыла, что они есть. Сколько лет не видела. Ребят я не люблю, а куры у матери были, жить я без них не могла.

— Вот что она, советская-то власть, творит: отрывает человека от всего живого только за то, что он жить хочет... малую пользу для себя ищет.

— Запела... Малой-то пользы для таких, как ты, паразитов, не хватит. Рог у вас большой.

— Ша, дура! Вот тебе бог, брошу я тебя на вокзале, не пущу в дом, раз никакого уважения.

— Попробуй — не пусти, — серые глаза Клавки только потемнели, потеряли блеск, но Марья мягко, как мешок, опустилась на скамейку. — Я тебе перед домом такой хай устрою, не опомнишься! Не звала бы, никто тебя не просил, а позвала... так живи мирно.

И повернулась опять к окну.

Мотальный цех небольшой примитивно оборудованной чулочной фабрики, где сразу же нашла работу Клавка, не обрадовал. Давили низкие потолки, в воздухе реяла нитяная пыль, которая оседала хлопьями на машинах, на одежде работниц и так затрудняла дыхание, что мотальщицы называли ее «угаром». Непривычный шум веретен, казалось, сверлил уши и мозг.

Работа в мотальном цехе, на первый взгляд показавшаяся Клавке легкой, все-таки требовала умения, которое, конечно, не приходило сразу. Первые недели, когда она кончала день с тяжелым чувством, что он ее ничему не научил, были совершенно безотрадны. «Будь она проклята эта чертова мотальня, — думала Клавка. — Да в лесу во сто раз легче, привольнее. А тут идешь домой — в голове шум, звон, в горле пыль, в глазах, пока не уснешь, все нитки рвутся». Была она в это время хмурой, молчаливой, сердито косилась на других мотальщиц, не понимая, как они находят время и следить за своими веретенами, и быстро менять шпулю за шпулей, и поговорить с соседками. Угнетало и то, что только за счет еды она могла хоть немного приодеться. Невольно опять вспоминался лагерь — работая там, она была сыта.

Но к концу месяца Клавка уже вышла из подавленного состояния, уже надеялась, что сможет работать «не хуже других». Конечно, еще путалась нитка от того, что не всегда ей удавалось подготовить и надеть на винду моток так, как это было нужно; рвались нитки о ножи для очистки, потому что те были или засорены или не разведены вовремя; не умела еще пользоваться нитеводителем, и шпули подчас выходили намотанными так неровно, что хотелось их спрятать или сбросить в брак.

Ошибки были еще на каждом шагу, но они уже были понятны, Клавка знала, как от них избавиться, и сразу настолько осмелела, что однажды не удержалась, резко огрызнулась на опытную работницу, к которой была прикреплена для обучения:

— Не указывай. Сама знаю, что от чего.

— Вот ты как? — удивилась та. — Ну, больше ко мне не подходи! — И спросила стоящих рядом: — Видали вы такую... неблагодарную?